

ИЗ КНИГИ "ЛИТЕРАТУРНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ И СОВРЕМЕННАЯ СМУТА"

<...> Не знаю, что говорил обо мне Курочкин Некрасову, но, должно быть, что-нибудь очень лестное. Сужу по тому, что мою "Борьбу" не просто взяли для прочтения, а предложили мне прочитать ее самому в присутствии всей редакции¹. Так обыкновенно не делается, и я был сконфужен. Конфуз мой достиг высшего предела, когда я в назначенный день и час приехал вместе с Курочкиным в редакцию "Отечественных записок" и увидел там Некрасова, Салтыкова, Елисеева и, помнится, еще многих. Как будто и А. М. Скабичевский тут был, и красивое, точно точеное, но, как маска, мертвенное лицо Слепцова помнится. Но в этом я неуверен. Внешнею обходительностью редакция "Отечественных записок" никогда не отличалась, даже в тех случаях, когда по существу была вполне доброжелательна. В данном же случае смущение мое было тем сильнее, что, когда мы уселись за большой стол, покрытый зеленым сукном, возле меня оказался Салтыков и стал смотреть в тетрадь, по которой я читал, своими якобы суровыми, слегка выпученными глазами, время от времени побряхтывая громким басом: э-гм! Как близки и понятны стали мне потом эти якобы суровые глаза и как они меня смущали тогда! Между прочим, дойдя до одной главы, я почему-то вдруг тут же сообразил, что она неудачна и требует таких-то и таких-то переделок. Я хотел ее пропустить, и это было тем удобнее, что она была вводная. Я уже перевернул две-три страницы, ища следующей главы, но Салтыков меня остановил: "Что же вы пропускаете?" - "Да тут переделать надо". - "Нет, уж читайте все подряд!"

Чтение кончилось. Прочитал я только первую часть, так как из остального были лишь наброски, и я даже не захватил их с собой. Наступило молчание. Прервал его Салтыков сердитым басом: "Надо кончать! А то что же так-то, без хвоста!" Некрасов сказал то же самое, но гораздо любезнее. Елисеев сидел молча, насупившись, поглаживая правой рукой левый ус и, по-видимому, совсем о моей "Борьбе" не думая. Курочкин отвел Некрасова в сторону и что-то шептал ему, после чего Некрасов подошел ко мне с вопросом, не нужно ли мне денег. Деньги были очень нужны, но я сконфузился и отказался. Выходя вместе со мной из редакции, Курочкин меня очень бранил за этот отказ, а о романе выразился так: "Бойко написано, бойко прочитано, впечатление получилось недурное, а, в сущности, бросьте-ка вы этот роман, право, не ваше дело!" Я и сам в эту именно минуту почувствовал, что надо бросить и что это не мое дело.

Несколько позже, нуждаясь в беллетристическом материале, Некрасов напомнил мне о романе, но я ответил, что решительно не могу его кончить, не пишется. Он просил меня, по крайней мере, выделить из "Борьбы" один эпизод, - он указывал, какой именно, - и обработать его в рассказано я и этого не мог сделать, будучи увлечен совсем другими работами².<...>

К начинающим писателям он относился с большим вниманием, охотно давая им разные советы. Нельзя было при этом не любоваться его умом. Он отлично знал пробелы своего образования и никогда не старался их скрыть. Но даже по поводу статей о совершенно незнакомых ему предметах у него находилось умное слово, заимствованное из его огромной житейской и журнальной опытности. Но разговорчив он не был, и когда молодой сотрудник сколько-нибудь оперялся, он предоставлял его самому себе и лишь в крайне редких случаях выражал свое удовольствие. Благодаря безусловному доверию Некрасова к своим главным сотрудникам и соредакторам, редакционные дела "Отечественных записок" шли точно сами собою, точно никто ничего и не делал, тогда как, в действительности, все много работали. Какие-нибудь пререкания были величайшей редкостью. Тот же порядок был и потом, когда после смерти Некрасова ответственным редактором стал Салтыков. Только Салтыков, в силу своей крайней экспансивности, не мог удержать в себе ни одной мысли, ни одного чувства, тогда как Некрасов, напротив, был до такой степени замкнут и скрытен, что иной раз и догадаться было невозможно, что он думает. Со мной был следующий характерный в этом отношении для Некрасова случай. Дело было в 1874 году, когда я был уже вполне своим человеком в редакции "Отечественных записок". Однажды студент, помнится, Института путей сообщения, по фамилии Шмаков, принес мне тетрадку своих стихотворений. Они показались

мне пригодными к печати, и я передал их Некрасову, но без всякой, со своей стороны, рекомендации: посмотрите, мол. Через несколько дней получаю от Некрасова записку: "Ваш поэт Шмаков вытолкнул меня из постоянного гнусного настроения, в котором я, черт знает отчего, нахожусь уже давно, - у него есть талант, и он непременно будет хорошим поэтом, если будет строго работать и овладеет вполне формой, без которой нет поэта... Если он здесь, то не скажете ли ему, чтоб зашел ко мне"³. Молодой поэт был у Некрасова, три или четыре его, действительно, недурных стихотворения были напечатаны в том же 1874 году в "Отечественных записках"⁴, но затем он куда-то исчез, и что-то я не знаю теперь такого поэта. Некрасов больше о нем не вспоминал. Много времени спустя, уже незадолго до своей смерти, Некрасов признался мне в случайном разговоре о стихах, что сначала он считал Шмакова псевдонимом, под которым укрылся я, конфузясь своих стихотворных опытов, и что он был очень разочарован, увидав настоящего, живого Шмакова. Почему он думал, что это мои стихи и что я хитрю, выдавая их за чужие, я не знаю. На мой вопрос об этом он ответил только: "Так мне показалось". Но и его предположение насчет моей хитрости, и его долгое молчание кажутся мне очень для него характерными.

Конечно, это случай мелкий, но вообще в Некрасове было что-то загадочное, невысказанное, затаенное от всех посторонних взглядов. Тем поразительнее были случаи, когда это затаенное рвалось наружу и все-таки не могло вырваться вполне.

В 1869 году появилась брошюра гг. Антоновича и Жуковского "Материалы для характеристики современной литературы"⁵, в которой заключались крайне ядовитые нападки на Некрасова, на Елисеева, на "Отечественные записки". Она состояла из двух частей: из "Литературного объяснения с Н. А. Некрасовым", написанного г. Антоновичем, и из статьи г. Жуковского "Содержание и программа "Отечественных записок" за прошлый год". И самая эта брошюра, и, тем более, ее интимная подкладка представляют собой нечто совсем чужое большинству нынешних читателей. Я и сам узнал эту прискорбную историю во всех ее подробностях только теперь, разбирая бумаги Елисеева. Покойный Григорий Захарович, видимо, придавал ей большое автобиографическое значение, и потому я, может быть, расскажу ее его собственными словами, когда дело дойдет до воспоминания о нем. Теперь скажу только, что брошюра гг. Антоновича и Жуковского содержит в себе много злобно выраженных неприятных намеков и предположений насчет Некрасова, Елисеева и "Отечественных: записок". Значительная часть этих намеков и предположений давно, так сказать, ликвидирована самою жизнью. Авторы брошюры предсказывали решительное отклонение "Отечественных записок" от того направления, которого Некрасов, Салтыков и Елисеев держались прежде в "Современнике", - а этого, как известно, не случилось (Салтыков в брошюре не поминался по имени, ему представлялось узнать себя в общей формуле "разной шушеры и шелухи из "Современника"), Авторы брошюры потратили много остроумия насчет объединения Некрасова и Краевского, слития их в одну литературную фирму, а такого объединения и слития никогда не было. Но "Отечественные записки" были еще тогда внове; за один год существования они успели, конечно, выясниться, не настолько, однако, чтобы для них были вполне безразличны нападки бывших сотрудников "Современника". При том же, в брошюре заключалась крупица истины, хотя и вполне бестактно выраженной; и это было тем неприятнее, что крупица истины находилась в связи с обстоятельствами, бросившими на Некрасова такую тень в 1866 году. Никогда, ни до, ни после этой брошюры, Некрасов не был "развенчан" так грубо, так открыто и беспощадно, - и кем же? - не каким-нибудь отпетым проходимцем, а "своими", людьми, объявлявшими себя истинными хранителями лучших литературных преданий. А за одно с Некрасовым призывался к ответу и весь журнал, в лице, впрочем, главным образом, Елисеева. Не мудрено, что, придя в ближайший редакционный день в редакцию, я застал там переполох. Салтыков рвал и метал, направляя по адресу авторов брошюры совершенно нецензурные эпитеты. Елисеев сидел молча, поглаживая правую рукой левый ус (его обыкновенный жест в задумчивости), и думал, очевидно, невеселую думу. Я знаю теперь эту думу: он ничего подобного не ожидал, если не от г. Жуковского, то от г. Антоновича, и был тем более оскорблен в своих лучших чувствах, что имел о Некрасове свое особое мнение. Сам Некрасов произвел на меня истинно удручающее впечатление, и я, пользуясь тем, что не был еще тогда членом редакции и, значит, не обязан был сидеть в ней, скоро ушел. Тяжело было смотреть на этого человека. Он прямо-таки заболел, и как теперь вижу его вдруг осунувшуюся, точно постаревшую фигуру в халате. Но самое поразительное состояло в том, что он, как-то странно заикаясь и запинаясь, пробовал что-то объяснить, что-то возразить на обвинения брошюры и не мог: не то он признавал справедливость обвинений

и каялся, не то имел многое возразить, но, по закоренелой привычке таить все в себе, не умел. Это просто невыносимое зрелище я видел еще раз потом, в трагической обстановке предсмертных расчетов Некрасова с жизнью... <...>

Некрасова часто упрекали (между прочим, и в упомянутой брошюре), например, за излишнюю разносторонность знакомств. Он, действительно, якшался с самыми разнообразными сферами, в том числе и с такими, которые могли иметь разве только отрицательное отношение к "Современнику" и "Отечественным запискам". Он, бесспорно, находил в этих знакомствах удовлетворение своим избалованным вкусам богатого барина и крупного игрока, что, пожалуй, было и не к лицу редактору таких журналов. Но здесь же он находил для этих журналов те "щиты и громоотводы", о которых говорит г. Антонович. Он полагал, впрочем, что литератору, как литератору, необходимо все знать и видеть.

В начале семидесятых годов в Петербурге существовало какое-то гастрономическое общество. Оно устраивало обеды, куда знатоки гастрономического дела, люди, конечно, богатые и избалованные, а также известные столичные рестораторы поставляли - кто одно блюдо из своей кухни, кто другое, кто одно вино из своего погреба, кто другое. Все это серьезнейшим образом смаковалось и сообща обсуживалось; ставились даже баллы за кушанья и вина. Бывал на этих обедах и Некрасов. И не только сам бывал, а и других тащил, между прочим, и меня, который, вероятно, по своему гастрономическому невежеству, не мог видеть в этом учреждении ничего, кроме до уродливости странной формы разврата. Когда я выразил Некрасову свое мнение на этот счет, он со мной согласился, но привел три резона, по которым он на эти обеды ходит: во-первых, там можно действительно вкусно поесть; во-вторых, литератору нужно знать и те сферы, в которых такими делами занимаются; в-третьих, это один из способов поддерживать знакомство с разными нужными людьми. В гастрономическое общество я не попал, но в балет меня однажды Некрасов затащил-таки, и это единственный раз в жизни, что я был в балете. Боюсь, что читатель заподозрит меня по этому поводу в похвальбе тем, что французы называют *pruderie* {показная добродетель (*франц.*)}. Отнюдь нет, не в суровой добродетели тут дело, а просто в том, что условные, размеренные движения танцовщиц и танцовщиков показались мне некрасивыми и невыносимо скучными. Но речь не обо мне, а о Некрасове. Балет привлекал его теми же тремя сторонами: это красиво, это надо знать, это почва для сближения с нужными людьми. Если кто вздумает придрасться к этому расположению аргументов, к тому, что на первом плане стоят вкусная еда и красота балета, то это будет тщетная придирка. Я отнюдь не уверен, что Некрасов располагал свои три резона именно в таком порядке. Он, впрочем, никогда не прикидывался презиравшим "минутные блага жизни".

В числе других видов обращения с нужными людьми у Некрасова бывали, если не ошибаюсь, еженедельно специальные собрания, на одном из которых был и я. Это было некрасивое зрелище. Из ненужных людей, кроме меня, был только Салтыков. Остальные все нужные. Правда, это были *dii minores* {не самые выдающиеся (*лат.*)}. Олимпа нужных людей, но все-таки значительные, почтенные люди. Некрасов накормил нас хорошим обедом, напоил хорошим вином, потом сели играть в карты на нескольких столах. Игра была небольшая, не некрасовская. Некрасов был очень мил и любезен, но его такт избавлял его от каких-нибудь заискивающих форм любезности. И все-таки мне было как-то не по себе, как-то чуждо и жутко, точно я в дурном деле участвовал. Между прочим играл в карты и Салтыков, по обыкновению, раздражаясь на неудачный ход партнера, на плохие карты и прочее. За его спиной стал один изнеигравших гостей, значительный седобородый старец, и посоветовал ему какой-то ход. Салтыков проворчал что-то вроде: "Ну, да! советчики!" Однако послушался. Но когда ход оказался неудачным, Салтыков грубо выбранил советчика и бесцеремонно потребовал, чтобы он отошел от его стула и не совался в игру. Эта вспышка, очевидно, портила политическую музыку Некрасова, но мне, признаюсь, Михаил Евграфович был в эту минуту необыкновенно мил и дорог. Я больше не бывал на этих собраниях, и не только потому, что мне на них делать нечего было, так как в карты я не играю, - просто почти бессознательно чувство брезгливости протестовало.

Скажут, может быть, что вот не поцеремонился же Салтыков с нужным человеком, а ведь и он, после смерти Некрасова, тянул лямку ответственного редактора. Действительно, политика Салтыкова как редактора резко отличалась от некрасовской. Но не надо забывать,

что ко времени редакторства Салтыкова литература была уже далеко не так поставлена, как в ту мрачную пору, когда Некрасов начал свою журнальную деятельность и получил свое воспитание как редактор-издатель; да и всероссийские нравы изменились. Литература наша, к сожалению, и доселе не пользуется доверием правительства в той степени, в какой это было бы желательно нам, писателям, да и не только нам. Но каковы бы ни были претерпеваемые ею неудобства и невзгоды, их и сравнить нельзя с прежним положением вещей, когда самое существование литературы было едва терпимо. В наше время "щиты и громоотводы", для сооружения которых Некрасов приносил столько моральных и неморальных жертв, утратили свое значение; они частью не нужны, частью невозможны; но тогда нужна была необыкновенная изворотливость, чтобы провести корабль литературы среди бесчисленных подводных и надводных скал. И Некрасов вел его, провозя на нем груз высокохудожественных произведений, составляющих ныне общепризнанную гордость литературы и светлых мыслей, постепенно ставших общим достоянием и частью вошедших в самую жизнь. В этом состоит его незабвенная заслуга, цена которой, быть может, даже превосходит цену его собственной поэзии. Но практика постоянной изворотливости, практика постоянного искания или сооружения щитов и громоотводов не может служить к украшению личного характера практиканта. Она непременно должна положить на него более или менее густые тени, приучив его ко всякого рода компромиссам, житейским противоречиям и непоследовательностям, сделкам с своею совестью. Это и случилось с Некрасовым. А он был к этому и без того слишком подготовлен основным противоречием его жизни, - противоречием между клятвою не умереть на чердаке и искренним сочувствием к обитателям чердаков, ко всем голодным, холодным и обездоленным. Все это сплеталось в Некрасове в один запутанный пестрый клубок, многосложность и пестрота которого тяжелее всего отзывалась на нем самом. Поверхностные и пустопорожние люди думают, что жизнь Некрасова была, за вычетом горечи молодых годов, каким-то сплошным праздником. Это - глубокая ошибка. <...>

Финансовые мои обстоятельства поправились в "Отечественных записках". Я много работал и достаточно зарабатывал. Но частью потому, что дела мои были очень расстроены предыдущими невзгодами, частью по всегдашнему моему неумению как следует обращаться с деньгами, на мне скоро оказался довольно значительный долг конторе "Отечественных записок". На беду, весной 1870 года мне понадобились экстренные средства на отправку одного близкого мне больного человека за границу. Я изложил Некрасову исключительность обстоятельств, но он очень сухо отказал в деньгах, указав на мой долг. Я понимал, что он прав, но все-таки с горьким и обидным чувством вернулся домой, а тут еще надо было статью дописывать. Дописал, сдал в редакцию и уехал на несколько дней из Петербурга искать денег, потому что состоятельных знакомых у меня в Петербурге не было. Однако и поездка оказалась неудачною. Вернувшись и раздумывая, как быть, получаю от Некрасова пригласительную записку. Застаю его за корректурой моей статьи. Он заговорил со мной тем же сухим, деловым, сумрачным тоном, но уже другими словами: "Вы просили денег, сколько вам надо? - "Столько-то". - "Так я вам дам записку в контору, вы нам человек нужный". Хотя слова эти выводили меня из трудного положения, в благополучном выходе из которого я уже отчаялся, они все-таки оставили во мне тяжелое впечатление. Опять-таки Некрасов был несомненно прав: если б я не был нужен журналу, так незачем мне и льготы оказывать, а коли нужен, так надо обратить внимание. Но как-то уж очень это жестоко и обнаженно вышло... Не всегда, однако, Некрасов был так жесток и сух. Мне кажется, что на него действовала в этом отношении петербургская жизнь, в особенности его петербургская жизнь - шумная, пестрая, но нескладная. Летом сердце его, вероятно, размягчалось и уста разверзались для мягких и ласковых слов. Сужу так частью по его писаниям, а частью по собственному опыту. Очень, впрочем, незначительному. Однажды я был у него на даче, в Чудове, а в другой раз столкнулся с ним за границей, в Киссингене. Он был там с женой и сестрой, подобралась и еще знакомые, в том числе Елисейев с женой. Киссинген, хотя и имел честь лечить своими водами таких высокопоставленных особ, как император Вильгельм I и Бисмарк, есть один из самых мирных курортов. Развлечение своим многочисленным и разноязычным гостям он представляет самые скромные: еда самая умеренно-немецкая, в гастрономическом смысле оставляющая многого желать; музыка ниже посредственной; скромные ассамблеи в "ротонде", где под звуки той же музыки, а то и рояля, танцуют немчики с немочками; игорных учреждений никаких; театра нет, - по крайней мере, нет постоянной труппы, а наезжают третьестепенные актеры. Может быть, во время пребывания особ, вроде Вильгельма и Бисмарка, все это изменяется, но я видел Кис-синген таким два раза, в 1871 году и в 1873 году, когда столкнулся там с Некрасовым⁶. И Некрасов, видимо, отмякал, если можно так выразиться, в этой простой обстановке.

Верстах в двух от Киссингена есть развалины древнего замка Боденлаубе. Предание гласит, что замок этот был построен знаменитым миннезингером XIII века, поэтом-рыцарем Отто фон Боденлаубе. Теперь в этих живописно заросших зеленью развалинах ютится элементарный ресторанчик, где можно получить яйца всмятку, кофе, молоко, дешевое вино. Однажды мы сидели там с Некрасовым. Он разговорился, рассказывал про Белинского, Чернышевского, Добролюбова, отзываясь о них почти восторженно. Предание о рыцаре-поэте, в развалинах замка которого мы теперь пьем скверный немецкий кофе, навело разговор на поэзию вообще, потом на поэзию Некрасова. Он говорил грустно и задушевно и как-то вдруг стал не то оправдываться, не то казнить себя. Мне живо припомнился тот Некрасов, которого я видел в 1869 году после брошюры гг. Антоновича и Жуковского. Не было того острого волнения, но та же затрудненная, смущенная, сбивчивая речь человека, который хочет сказать очень много, но не может... Я очень хорошо помню, что ни единым нескромным вопросом не вызывал его на откровенность. Он сам начал, а я даже не поддерживал этого щекотливого разговора. <...>

Примечания

Наиболее прогрессивный период публицистической и литературно-критической деятельности известного народника Николая Константиновича Михайловского (1842--1904) связан с журналом "Отечественные записки".

Первые же статьи Михайловского, опубликованные в "Отечественных записках" в 1868--1869 годах ("Жертва старой русской истории", "Что такое прогресс?", "По поводу "Русских уголовных процессов"), встретили одобрение редакции и критики. Елисеев, под опекой которого был на первых порах Михайловский, писал Некрасову в июле 1869 года: "Михайловский, как видно по последним статьям его, оказывается даровитейшею личностью и может быть даже *надеждою* литературы в будущем. Для журнала он человек незаменимый..." (ЛН, т. 51--52, стр. 250). Некрасов тогда же представил Михайловского Краевскому: "... теперь ясно, что это самый даровитый человек из новых, и ему, без сомнения, предстоит хорошая будущность. Кроме несомненной талантливости, он человек со сведениями, очень энергичен и работающ. "Отечественным запискам" он может быть полезен сильно и надолго" (XI, 147). Михайловский стал постоянным сотрудником журнала; он вел ежемесячные литературные и журнальные обзоры. С его мнениями считались и Некрасов, и Щедрин. После смерти Некрасова Михайловский вместе с Салтыковым-Щедриным и Елисеевым стал соредактором журнала.

Михайловский стал сотрудником "Отечественных записок", когда имя Некрасова возбуждало самые противоречивые толки, вызванные стихами, которыми поэт безуспешно пытался спасти "Современник", и клеветническими измышлениями о сотрудничестве Некрасова с Краевским. "Враги <...> ликовали,-- вспоминал Михайловский,-- друзья и сторонники отшатнулись или сконфузились <...>. Не мудрено, что я упирался идти в "Отечественные записки... Смущала сама личность Некрасова, которого я когда-то так горячо, хотя и заочно, любил, которым зачитывался до слез" (Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. I. СПб. 1900, стр. 47--48).

Не случайно, "свет" и "тени" - основная тема размышлений Михайловского о личности Некрасова, а "покаянные стихи" - главный предмет анализа. В обзоре литературы о Некрасове, появившейся к двадцатилетней годовщине со дня смерти поэта, критик писал: "... Хотя "на час", но Некрасов бывал "рыцарем". Судьба нашего поэта так сложилась, что этот великий поэтический час уходил преимущественно па работу совести: поэт часто поднимался духом только затем, чтобы из достигнутой им высоты заклеить самого себя" (Н. К. Михайловский, Отклики, т. II, СПб. 1904, стр. 39).

В "работе совести" Некрасова Михайловский увидел лишь особенности его личности, выключив ее, по существу, из сложных процессов общественного движения 60--70-х годов. Но критик решительно отбрасывает измышления противников Некрасова, пытавшихся "развенчать" поэта. Он приходит к бесспорному выводу, что "Некрасов никогда не изменял голодным, холодным и униженным ни в своей поэзии, ни в своей журнальной деятельности" (Н. К. Михайловский, Литературные воспоминания и современная смута, т. I, стр. 77). Воспоминания Михайловского полемичны. Он резко возражает против досужих домыслов, печатных

инсинуаций реакционных публицистов, стремившихся опорочить память поэта. Полемика определила стиль мемуаров. Михайловский предупреждал: "Ручаюсь за правдивость, но не ручаюсь за последовательность и аккуратность. Оставляя за собой право (которое может при случае обратиться Даже в обязанность) оборвать воспоминания на любом моменте, потому ли, что он мне покажется щекотливым, или просто потому, что надоест вспоминать..." (там же, стр. 2).

Воспоминания Михайловского о Некрасове впервые были опубликованы в журнале "Русская мысль" в цикле статей "Литература и жизнь" (1891) и получили разноречивые оценки. М. Горький отозвался о них неодобрительно, считая, что мемуарист не имеет права вмешиваться в личную жизнь писателя (см. его статью "Как ссорятся великие люди" в "Самарской газете" от 18 апреля 1895 года). В. Г. Короленко полемизировал с Горьким, разделяя точку зрения Михайловского (об этой полемике см. стр. 8--9). За "слишком строгое" отношение Михайловского к Некрасову критика порицал один его анонимный "почитатель" (см. публикацию писем читателей к Н. К. Михайловскому М. В. Теплинским в "Заметках о Некрасове". - "Ученые записки Хабаровского пединститута", 1968, т. 15). П. И. Вейнберг писал А. И. Плещееву 16 августа 1891 года: "Самое интересное-- воспоминания Н. К. Михайловского в "Русской мысли": очень живо и умно, а для бывшего кружка "Отечественных записок" представляет особый интерес" (ГБЛ, М. 8225/196).

С воспоминаниями о Некрасове Михайловский выступал 27 декабря 1897 года на литературно-музыкальном вечере, организованном в Петербурге Литературным фондом.

Печатается по книге: "Литературные воспоминания и современная смута", т. 1, СПб. 1900, стр. 63--65, 72--75, 78--81, 82--84.

¹ Стр. 240. В предшествующей части воспоминаний Михайловский рассказывал, как Н. С. Курочкин, руководивший в "Отечественных записках" (до 1872 г.) отделом критики и библиографии, обещал поговорить с Некрасовым о романе Михайловского "Борьба", который не был напечатан в "Современном обозрении" из-за прекращения издания журнала.

² Стр. 241. Просьба Некрасова относится к 1869 г.; Михайловский писал Некрасову: "Но романа своего я не дам: обжегся на молоке, так и на воду дуешь. Рукопись я почти всю уничтожил, а из того, что было набрано для "Современного обозрения", трудно что-нибудь выкроить, да у меня и рука не поднимается возиться с этим делом" (цит. по книге: В. Евгеньев-Максимов, Некрасов и его современники, "Федерация", М. 1930, стр. 317).

³ Стр. 242. Это письмо сохранилось и опубликовано: XI, 295.

⁴ Стр. 242. В "Отечественных записках" (1874, NoNo 3 и 4) опубликовано три стихотворения В. Шмакова.

⁵ Стр. 243. См. стр. 163.

⁶ Стр. 249. Некрасов лечился в Киссингене в июне 1873 г.